

16+



роман

ТОЧКА
НОЛЬ

ИРМА ВИТТ

Ирма Витт
Точка Ноль

«ЛитРес: Самиздат»

2014

Витт И.

Точка Ноль / И. Витт — «ЛитРес: Самиздат», 2014

«Точка Ноль» — это первый роман Ирмы Витт, московской писательницы, ранее занимавшейся малой прозой. Роман пропитан солнечными лучами и всеобъемлющей, метафизической грустью. На его страницах кинематографично сплетаются временные и пространственные отрезки: на первый план выходит история любви и трансформации главного героя, а на глубинном уровне каждое действующее лицо представляет собой архетипический образ, символ даже не человека, а явления. Читатель становится участником своеобразной игры, так как создает индивидуальную трактовку романа, разгадывая причинно-следственные связи и наполняя его собственным, уникальным смыслом.

© Витт И., 2014

© ЛитРес: Самиздат, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как-то пару лет назад, будучи на выставке во французском Руане, я пила кофе в бистро на окраине города, сидя за нагретым майским солнцем столиком, ножки которого глубоко вошли в расцветающую землю, и неожиданно разговорилась с русским мужчиной лет под сорок, представившимся, видимо уже по привычке, на европейский манер: «Андре». Он жил на две страны и его «совсем измучили перелеты» – пожаловался он мне. Его молодая жена постоянно проживала в Нормандии, и он также собирался в скором времени полностью перебраться во Францию и заняться фермерским хозяйством, которое недавно приобрели родители его жены, дождавшись лишь, когда его дочь окончит школу в Москве. Его жена была на сносях, ожидался мальчик. Меня всегда забавляла эта особенность русского человека, живущего вдали от Родины – видеть в каждом встречном соотечественнике приятеля.

Узнав, что я имею близкое отношение к московскому литературному миру, он как-то оживился, вспомнил две-три известные фамилии – как оказалось, у нас даже были общие знакомые. Но потом надолго замолчал, задумался, обхватив голову руками. Тут я краем глаза увидела, что мой прокатный автомобиль, припаркованный не по правилам, привлек внимание ажана, и побежала на его выручку. Увы, по возвращению я не застала Андре, но на столе моем лежал толстый кожаный ежедневник, а на салфетке рядом было выведено по-русски: «Я не забыл его, это Вам». На первой странице была надпись «Андрей Вишнев, 1 курс». Листы были полностью исписаны мелким, но разборчивым почерком.

Потом, уже вчитавшись в неровные строки, я увидела, что первые страницы представляли собой обычный органайзер, где записывались расписание лекций и экзаменов, списки книг, необходимых к прочтению. Несколько лет подряд ежедневник заполнялся датами и местами встреч, какими-то заметками, телефонами и адресами. И какое-то время я покачивалась на стуле в глубокой задумчивости – с какой, собственно, целью мне были оставлены столь ценные сведения? Однако где-то с середины начиналось вполне связное повествование, где-то записи были датированы, где-то нет, многие листки выпали, были вырваны, вымараны или перепутаны. В конце ежедневника был вклеен конверт, где хранились сложенные листы уже из другой тетради, в клеточку – эти страницы были заполнены иным почерком, беспокойным и крупным.

Во время чтения меня не раз удивлял поступок мужчины, так как повествование носило во многом интимный характер, и в некоторых местах я испытывала недоумение ребенка, спрятавшегося под кроватью, на которой неожиданно началось соитие, и позже, готовя рукопись к публикации, приняла решение не включать их. Также я изменила фамилии и частично имена всех действующих в повествовании героев, нетронутым оставив лишь имя Ли. Не знаю, что именно хотел от меня Андре, хотя позже я как будто поняла значение этого дара, но в моих намерениях было поначалу отыскать ее, Лику – ту, которая была главной героиней этих записей, чтобы передать их напрямую ей в руки, ведь с тех пор, как они оказались у меня, я ощущаю тяжесть и печаль. Но приложив некоторые усилия по ее поиску, вынуждена была признать, что найти ее не представляется мне возможным. Поэтому после долгих раздумий я решила использовать свои возможности для того, чтобы издать рукопись, присвоив ей название, и выступив при ней редактором, придав повествованию хоть какой-то логический строй, потому что история эта глубоко тронула меня.

Ч.1 ДО

Никогда мне не нравилось мое лицо. Это лицо лжеца, изменника и фата неуместно на стыке тысячелетий. Самое время ему было бы появиться в веке девятнадцатом, и, украсившись нитяными черными усиками, стать визитной карточкой провинциального актера, тратившего весь свой небогатый заработок на гостиничных девок и бенедектин, или же профессионального шулера, переезжающего из губернии в губернию в надежде поймать крупный куш, но земля под ногами его уже горит. Это лицо говорило: друг, беги от меня, я предаю тебя, обворовав

напоследок, женщина, берегись меня, я оставлю твою душу разоренной, а чрево бесплодным. Рассматривая свои фотографии, запечатлевшие меня беспощадно в анфас, я видел темные беспокойные глаза, длинные изогнутые, даже несколько женственные брови, длинный нос с горбинкой, довольно тонкие губы, очень темные волосы цвета умбры. Сейчас в них уже видны седые нити и глаза мои не горят, а тлеют: бывшее переехало меня скорым поездом, оставив на насыпи лишь смятую оболочку со жгучей внутри пустотой.

... Женщины всегда занимали в моем мире главное место, все, кроме одной, самой главной – моей хрупкой юной матери, которая не перенесла родов, когда я рвался наружу, мягкой головой пробивая себе путь к свету. Она скрыла от своего сурового мужа, много старше ее, предупреждения врачей о невозможности ее слабого организма выносить и родить ребенка, таким образом, принеся себя в жертву являвшемуся на свет мне и не спросив меня, что делать с этой жертвой и как с такой мне ношей жить.

Погоревав какое-то время, отец женился повторно – на полной высокой девушке Марине, работавшей в местном театре в костюмерной. Марина просто грезилась о сцене и, несмотря на свои уже 26 лет, рвалась в московский театральный институт который год, но возвращалась с ревом неудачницы. Однако мой отец ребром поставил ей условие: никаких больше отлучек, ему нужна была домашняя жена, и она стала ему покорной. С моим отцом женщины вообще были покорны – все, начиная от соседки и заканчивая торговками на рынке. Этот худощавый высокий молчаливый мужчина одним лишь взглядом вводил их в трепет и лишал воли, при этом я не помню, чтобы он хоть раз поднимал на кого-то голос или тем более руку.

И вот, новая жена забросила учебники по актерскому мастерству и увлеклась кулинарией – мой отец был требователен к еде. По выходным она стояла на нашей маленькой кухне у цветущей голубыми цветами газовой плиты и лепила узорчатые по краям пельмени, варила гороховый суп на свиной ноге, запекала в фольге кулебяку, квасила капусту, усаживая меня на крышку небольшого бочонка вместо прессы. Я послушно сидел на капусте и, болтая ногами, смотрел в окно, где в подвесной кормушке копошилась синица.

Со мной Марина обращалась ласково, но довольно равнодушно, от нее не шло тепло, не шел холод, эта ровность меня пугала, воплощаясь в облачных ночных кошмарах. Я, конечно, старался поменьше вертеться под ногами, целыми днями пропадая на улице, в лесу, на речке – ах, в каком красивом мы жили месте, пускай на самой окраине нашего старинного города, зато совсем рядом с деревней русского поэта с золотистой кудрявой головой. Отец практически не занимался мной, изредка брал с собой на рыбалку на изгиб Оки в качестве маленького служки; разводя костер и ставя на огонь уху, он обнимал меня шершавой рукой, и я вдыхал его запахи – табака, бензина, от волос тянуло костром, от рук – металлическим запахом потрошенной рыбы. Несмотря на скупость ласки и заботы, столь необходимой детям для роста и развития, я чувствовал издали отца будто бы наблюдавшего за мной, никогда не выпускавшего из вида, иногда, играя во дворе, я вздрагивал от неожиданного ощущения его усталого взгляда на моей спине и точно: отец выходил на балкон. По сути своей, человеком он был неприветливым и крайне замкнутым, общающимся в основном приказами или короткими законченными фразами, представляющими собой готовые суждения о происходящем. При этом был крайне начитан и пользовался авторитетом среди мужчин нашего города. О прошлом его мне было ровным счетом ничего неизвестно, кроме того, что родители его, мои бабка и дед, были давно в могилах, дед лежал там даже с самой войны, и что родился он в далеком городе Владивостоке, я тайком смотрел на глобусе – это самый-самый край земли.

Работал отец в управлении цементного завода, так как имел московское высшее образование, свободное время проводил на рыбалке или дома, выжигая по дереву. Запах этого изобразительного занятия тревожил меня, а выходящих из-под его рук черных на желтой фанере картин я до оторопи боялся: вот гривастый лев выходит из джунглей, вот орел парит над горами, вот крокодил бьет хвостом по речной глади, глубоко в океане под толщей воды плывет

кит. Но кто бы знал, какая тоска через край выплескивалась из этих мрачных, лишенных цвета изображений.

А потом отец пропал, за три дня до своего сорокатрехлетия. Утром ушел на рыбалку, накануне долго поддувал и клеил смоляные блестящие бока резиновой лодки, рыл червей в палисаднике у дома – был дождь. Искали его долго, почти месяц, но тела не нашли, нашли лишь лодку, целую и невредимую, прибитую к берегу на самом подходе к Горькому. В лодке лежали удочка и ведро, полное испорченной рыбы, да высохшие черви в опрокинутой банке.

Опухшая от слез Марина, которой теперь было название – мачеха, первые дни после пропажи выла, обнимала меня, скованного ледяным ужасом, гладила по голове, называла сиротиношкой. Потом как-то успокоилась, пошла на почту снимать с отцовской сберкнижки деньги, и не смогла найти его паспорт, перерыла всю квартиру, гремела ящиками, ругала меня со злобой, потом что-то заподозрила, ласково спрашивала: «Андрюша, папка что тебе говорил, перед тем как уйти? Скажи, Андрюш, может, он шепнул что по секрету? Молчишь? Ну и молчи, поганец», – срывалась на злой крик. Ей было бы легче пережить его гибель, чем предательство.

Через год к нам стали захаживать. Сначала короткое время – слесарь из ЖЭКа, но он был, Марина сказала с плевком, бабником. Слово мне понравилось, поэтому имя Бабник я присвоил своему мягкому медведю с пуговичными глазами, которого, вместе с бидоном черешни, мне подарила на день рождения пожилая соседка снизу, тетя Алла-с-усами. Иногда она брала меня к себе, когда у Марины были гости.

Ее жилье было для меня манким, интересным, там царил таинственный полумрак, тяжелые шторы закрывали окна, пропуская лишь тонкие струйки пыльного солнечного света, ставшего осветить две крохотные смежные комнатки, забитые странной мне мебелью. Там жили сумрачный глухой гардероб, радушный книжный шкаф, раскинувший полки в стороны, словно крылья, пухлый резной буфет, в глубине которого прятались пряники, конфеты и треснувшая сахарница, бюро, заваленное бумажками (пытаюсь упорядочить свою жизнь, милый, ведь так много всего было, встречи-расставанья, имена-лица, ах, каких людей я знавала, какие у меня были связи), взрослый стол на кривых лапах и его сын – квадратный столик, куда, пообедав, хозяйка переходила пить кофе из крошечной чашечки, диван с неудобной твердой спинкой и часы с басовитым боем. И еще подушки, статуэтки, настенные тарелочки, пейзажные gobelены, два натюрморта – с фруктами и с битой дичью, флаконы, журналы и старинная немецкая кукла, а в центре большой комнаты стояла моя любимица – кресло-качалка. Тетя Алла подкладывала на сиденье вышитую бисером подушку, усаживала меня сверху, давала мягкую плюшку и читала мне вслух сказки с волшебством, значительно поглядывая на меня поверх своих очков на цепочке. Я покачивался и незаметно засыпал с непрожеванной плюшкой во рту.

Иногда она расспрашивала: «Обижает тебя Марина? Бьет?». В таких случаях я поднимал глаза в левый угол под потолком – там висела кружевная паутина и жил паук. «Пауков-то убивать нельзя, они счастье в дом несут», – переключалась тетя Алла-с-усами. Так вот оно какое – счастье, думал я, глядя на немецкую куклу и рисованные фрукты.

А потом появился Миша – длинный и молодой, смеялся заливисто, как мальчишка, шумно сморкался в ванной и, рассказывая о ком-то, изображал его и лицом и голосом и жестами, это было так уморительно, что я смеялся до икоты. Марина не просто приглашала его в гости, она пекла к приходу пахучий рыбный пирог, запекала в духовке курицу, покупала красное вино и «Южные орехи», а не водку с воблой, как слесарю. Когда он приходил, она не вытесняла меня в мою комнатку и не бежала сдавать тете Алле, а сажала за стол и привязывала на шею салфетку, улыбалась мне и трепала нежно волосы, называя «сынок», от ласк я жимался и начинал беспокойно дергать под столом ногами. Миша был добрый, веселый человек, из деревни, от него пахло сеном, травой, речной водицею, в городе он учился на архитектора, жил в общежитии, но вскоре переехал к нам с клетчатым чемоданом и чертежным тубусом.

Я был скорее даже рад – мы с ним подружились, он делал со мной уроки, выписывал красиво буквы в прописи, а то мои всегда уезжали наверх, покупал мне подарки, в основном книги – про пиратов и индейцев и еще кубик Рубика, с которым бился я три дня, так, что закрывая глаза перед тем, как уснуть, долго наблюдал летающие хаотично цветные квадраты.

Иногда; когда мы сидели за столом, играя в дурака или, наоборот, в эрудита, я чувствовал взгляд стоявшей в дверях Марины, украдкой обернувшись, я мельком видел ее тихо улыбающееся посветлевшее лицо. Изредка она даже стала целовать меня на ночь. Но поцелуи эти были для меня настоящей экзекуцией. «Позови его как-нибудь – папка» – говорила она мне со значением. Я ничего не понимал, мое сознание путалось, я плакал, и шептал в темноту, мама, папа, почему вы меня оставили. Иногда мама снилась мне, хотя на память мне осталась лишь одна черно-белая карточка, будто бы на паспорт: завернутые в пучок темные волосы, длинный с горбинкой нос, большие черные печальные глаза, брови вразлет, бесцветный, с изогнутой верхней губой рот. На этой фотографии ей было лет шестнадцать, это был почти еще ребенок и, глядя в зеркало, я видел в своем лице черты этой девочки, которая мне мать. Снилось она мне в пустоте, в черном пространстве постепенно проявлялось белое лицо, тянулись длинные тонкие руки, она будто бы парила в воздухе, иногда улыбаясь мне, иногда хмурясь. Часто мне просто снилась пустота, и я вглядывался в нее, в надежде разглядеть там маму, я часто просыпался от зрительного напряжения, с гудящей головой и долго смотрел в потолок, рассматривая дрожащие на нем ночные тени в надежде, что знакомый силуэт переместится из мира снов в явь.

Потом мне исполнилось восемь лет, и случилась беда. Миша шел через двор, где его переехала лаковая свадебная Чайка, за руль которой сел покататься выпивший жених. Нарядные нетрезвые гости окружили место происшествия и стояли в бездействии, не понимая, как их веселый шумный праздник стал сиюминутно трагедией. Жених спал за рулем, ударившись немного головой. Блестящим мелким пластиком рассыпался вокруг недвижимого Миши конструктор – подарок для меня.

Снова отревев положенное, Марина возненавидела меня в открытую, в ее глазах залег холод. Называла меня проклятием, несчастьем. Сначала она запила, и ее погнали из костюмерной – плохо заштопанное платье Екатерины Великой разошлось на местной примае прямо посреди ключевой сцены объяснения с графом Орловым. Чтобы было на что жить, Марина стала сдавать внаем бывшую мою комнатку двум молодым московским практикантам. Меня ж переселили в коридор, поставив кровать между кованым сундуком и шкафом, где она хранила соль, муку и хозяйственное мыло. Уходя из дому по делам, задавала мне задания: вымыть пол, вытереть пыль, начистить картошки, хоть какая-то от меня польза. Три раза в день я был зван на кухню, где получал тарелку каши или супа, второе, хлеб, чай, яблоко, а Марина стояла надо мной, с отвращением глядя мне в затылок, пока я все не съем. Под надзором кусок не шел мне в горло, иногда я уходил, недоедая, но через пару часов живот начинало сводить от голода. Однажды ночью я шел к холодильнику, стараясь ступать тихо, как мышь, но в кухне увидел абсолютно голого мужчину, откупоривавшего бутылку с вином. Он неожиданно он вскрикнул, включил свет, прибежала Марина, схватила меня и со злости заперла в сундуке. Я пролежал там, сложенный, минут 10, слушая глухой спор, но слов не разбирая, потом крышка открылась, и грубые мужские руки вытащили меня, положили в кровать и укрыли одеялом. «Эх, парень» – только и сказал он. Я долго не мог пошевелиться, просто забыл, как это делается.

Однажды я зашел на кухню попить водички из желтого чайника и увидел на столе тарелку с бутербродами с докторской колбасой, от запаха меня затрясло, и я попросил у Марины один, она швырнула его мне почти в лицо. Я подобрал с пола составные части бутерброда и тихо вышел вон, неся в горле огромный ком нельющихся слез, а в душе – ревуший ужас: я убил свою мать, от меня сбежал отец, я погубил Мишу.

Потом от невыносимого чувства вины я заболел, метался в горячке, не проявляя никаких признаков простуды или вируса, сухой и жаркий катался по постели, зажатый сундуком и шкафом. Перепуганная Марина носила мне холодную воду и, с подергиваемой от страха чем-то заразиться губой, заворачивала меня голого в мокрые простыни, чтобы унять жар. Но это было невозможно, ведь горело внутри, а не снаружи, это я и пытался заплетающимся языком сообщить ей, рядом была тетя Алла-с-усами, принеся отвар шиповника и мед, услышав про то, что внутри у меня горячо, она восприняла это буквально, и по двору пополз слух, что Маринка пыталась отравить мальчонку.

Потом мне стало лучше, но только физически, внутри ж меня грыз червь. Под глазами легла чернота, бледное лицо просвечивало насквозь.

В следующие месяцы мне много и долго снилась пустота. Я прогуливал школу, шатаюсь по окрестностям, по мертвому мартовскому лесу. Голоса звучали у меня в голове, обрывки фраз и разговоров, там говорил отец простые фразы: «Ты бесполезен, ты мне не сын, уж лучше сгинуть в мутной речной воде, чем видеть тебя каждый день», там кричала криком Марина: «Проклятие, проклятие, чтоб было тебе пусто», там хохотали надо мной мальчишки-одноклассники и только чей-то мягкий шелестящий шепот вдруг разгонял их все как ветер в клочья облака...

Темные мысли текли у меня в голове, когда я глядел на тонкий речной лед. Я до головокружения смотрел на воду: вода манила, звала меня настойчиво и тихо, и как-то я пошел на зов, осторожно ступая по зеленоватому льду. Подо мной хрипело и хлюпало, я видел перед собой талое место, сквозь которое просвечивала черная вода. Ничего не видя больше в этом мире, я поднял ногу для последнего шага, но тут какая-то неведомая сила рванула меня за воротник и подняла вверх, придушив до писка, через мгновение я оказался брошенным на крепкий лед и увидел перед собой огромную лохматую собаку, которая, высунув язык, дышала на меня паром. Я оцепенел. Собака немного постояла рядом и ушла. Я пришел домой, и чтобы запомнить навсегда, что это был не бред, нарисовал собаку в тетради по математике черными чернилами, изобразив ее сплошь состоящей из капель воды.

После происшествия с моей болезнью Марина перестала со мной разговаривать вовсе. Но после болезни и во мне что-то изменилось. Например, я обрел необыкновенно нужный мне навык, который остался со мной на всю жизнь: когда Марина шпыняла меня, когда соседки причитающими голосами жалостные фразы кидали мне в спину, когда старшие мальчишки дразнили меня и пуляли в меня из рогатки, уши мои будто бы залеплялись куском ваты, и мир погружался в глухоту. В глазах становилось светло, и на этом белом фоне подергивались замысловатых форм пятна, очертания предметов и силуэты людей медленно двигались, все больше расплывались, время замедлялось, я слышал стук собственного сердца и движение крови по венам. Быстро вывести из этого состояния меня мог только резкий звук, стук или хлопок, или же оно проходило само, постепенно и бережно возвращая меня в реальность. Сначала я пугался, но потом понял, что это мне во благо и иногда с радостью воспринимал бегущие по спине и плечам мурашки – предвестников мягкого наркоза, который дарил мне мой организм. Во время такого кратковременного отключения я мог совершать какие-то действия, не думая о них, например, если в это время Марина ругала меня, а я писал в тетради, то я продолжал писать, но обводя одну и ту же букву.

Впоследствии, уже во взрослой жизни, это состояние погруженности в себя находило на меня все реже, но бывало так, что уже просто сильное воспоминание или впечатление вталкивало меня в мягкий вакуум, где, как сумасшедший в обитой матрацами палате, я покорно качался посередине, с блаженной улыбкой на лице.

Все чаще в разговорах с редкими своими подругами Марина говорила о переезде в Москву, и все чаще звучало слово, от которого жалось мое сердце: «детдом». Со мной обращение у нее свелось к следующему: приходя в нужный час на кухню, я находил там еду, иногда мелкие деньги, редко – новые носки или белье. Однажды, найдя новые трусики, я заплакал от

жалости к себе, но и к Марине: ведь, думал я, она не была с рождения злым, плохим человеком, просто разрушилась ее мечта, уходила ее красота и молодость, а она осталась без мужа, без работы, с чужим ребенком на руках, ведь детей не обязательно любят, особенно чужих, вот это я уже понимал.

Я точно знал: у каждой женщины есть мечта. И мечты всех женщин похожи. У мужчин мечты есть тоже, но они другие. Они мечтают о джунглях и горах, о льдах Арктики и сахарных пустынях, о неведомых морях-океанах с китами и медузами. Я тоже мечтал о них. Садился на сундук, открывал атлас и думал: остров Пасхи. Кот Д'Ивуар. Филллипины. Кабо-Верде. Кюри-лы. Австралия и Океания. Мечтал.

А потом случилось огромное событие – ко мне приехала настоящая живая бабушка, которая была давно в могиле.

Однажды ранним утром, в понедельник, в квартире раздался резкий требовательный звонок. Потом еще и еще. Я вскочил со своей постели, испуганно таращась на стеганую дверь. Шлепая лягушкой, ругаясь сквозь зубы и заворачиваясь в халат с дырой подмышкой, прошла к двери лохматая Марина. Из ее комнаты шнырнул молодой московский практикант, я не разглядел, какой из двух именно. Дверь распахнулась и в прихожую шагнула тонкая фигура.

Это была очень-очень старая женщина, ее лицо было похоже на мятую желтую бумагу, на лице выделялся морковный окрашенный рот, в ушах болтались огромные кольца, женщина была одета в полосатый брючный костюм и остроносые туфли на каблуках, в руках сжимала ридикюль с золотой застежкой в виде бабочки. Прихожая наполнилась необычным горьким запахом цветов и листьев.

– Здравствуй, Марина. Собирай ребенка, – плохо смазанным голосом начала она. Тут Марина растерялась, но быстро оправилась:

– Вы, вы... Вы вообще кто? Какое право...

– Имею, – перебила гостя, – я его родная бабка. Я мать Андрея. Документы смотри, нет только смотри, руками не трогай.

– Но он говорил, что вы давно...

– Как видишь, я жива и даже относительно здорова. Меня нашла ваша соседка, я-то сама не могла, как ни пыталась. Он... Впрочем, не твоего ума это дело. Собирай ребенка, мне с тобой не о чем говорить. Ты для меня не человек. Дырка в баранке.

Марина неожиданно растерянно затеребила пояс халата и сделала два шага назад.

– Так вы его забираете? Где же он будет жить?

– Он будет жить со мной, в Москве.

– А как же школа? Ведь он не окончил четверть...

– Его документы я уже забрала, неси свидетельство да поторопись, у нас автобус через два часа, – в словах старухи сквозила брезгливость, глядя на Марину, она подергивала нижней губой и страшно сверкала глазами.

Марина постояла чуть-чуть, тоже дернула губой, ушла к себе в комнату и вышла оттуда со спортивной сумкой отца, куда стала кидать из сундука мое жалкое имущество: пару трикотажных штанишек, колготки, стоптанные кеды, шарф, два свитера, белье, школьную форму, мои тетрадки и дневник. Я в смятении оделся и пошел умываться, от волнения долго не мог пописать: неужели меня сейчас ей отдадут? Хорошо это или плохо? Живая ли она? Мы будем жить в ее могиле? Лучше ли это детдома, куда Марина постоянно грозила меня отдать? Детдом, впрочем, представлялся мне огромным солнечным домом, где целыми днями мальчишки играют в футбол, едят мороженое, а девчонки в разноцветных платьях гуляют под ручку, хихикают и шепчутся...

Когда я вышел, Марина как раз утрамбовывала в сумку книги, подаренные Мишей, в одной из них лежало мамино фото. Это была моя главная вещь. Вторая главная вещь хранилась во внутреннем кармане куртки – свистулька из дерева, которую когда-то вырезал мне отец.

У порога гостя взяла меня за руку, я оглянулся, захватывая помутневшим от слез взглядом обои, шкаф, свою неубранную постель, растерянное лицо женщины, которая как-никак кормила, поила, обстирывала и одевала меня целые годы. Она вдруг рванулась ко мне в каком-то отчаянном порыве, протянула руки, губы что-то прошептали, но я отшатнулся в испуге, что она ударит меня за предательство, беспокойно качнулся синий плафон на потолке в прихожей, дверь захлопнулась. Обмирая от страха и неизвестности, я поднял голову и посмотрел на свою новообетенную бабушку, и в этот момент она взяла мою руку в свои жесткие, мелко трясущиеся пальцы.

Мы долго ехали по желтой дороге и приехали в желтый город, туман был желтый, дождь лил желтый, город пересекала желтая река. Я тогда не знал, что заболел, и все время повторял: желтое-желтое и смеялся, а бабушка Лидия Николаевна с опасением смотрела мне в глубину зрачков и вдруг, как в киноэффекте, ее лицо стало резко уменьшаться и отдаляться в пустоту, превратившись в точку, а потом исчезнув в самое никуда.

Я долго болел, как тогда, у Марины. Приходили женщины в белом, пахли аптекой, задавали вопросы, щупали и переворачивали, заставляли глотать пилюли, но я не мог ничего сказать им, ведь меня душили. Ледяной градусник нагревался в подмышке и кипел. Иногда, открывая глаза, я видел желтую комнату, посреди которой висело грустное лицо бабушки, потом лицо вновь уплывало, и мне являлся выжженный лев из папиной картины и тащил меня за шиворот в джунгли, на воробьиных крылышках порхала узорчатая кружка, проливая реки воды, и лев бросал меня: кошки не любят воду. Ну а потом я, как полагается, очнулся и увидел за окном опять зеленые деревья.

Взбив подушки и включив фарфоровую сову-ночник с зелеными глазами, садилась мне в ноги бабушка, ставила на столик рядом стакан ночной воды, а потом открывала старую «Книгу для чтения», и там были яти, и я любил про горшочек каши вари-не вари. Потом, когда всю землю уже засыпало снегом, на Новый Год, я лично заворачивал грецкие орехи в золотую фольгу и привязывал к ним ниточки, чтобы украсить елку, а потом бабуля дала мне корзинку мандаринов для того, чтобы я их очистил, и она могла бы сделать из них мармелад. Сама же она в это время надевала на нос очки без дужек, но на веревочке, и читала вслух «Дом с волшебными окнами». К нам приходили гости с подарками и пирожными в красивых картонных коробках, и среди них были дети, и приходило особое создание – тонкая полупрозрачная девочка Оля, и друг мой латыш Ивар тоже приходил. Я помню вас, где бы вы сейчас ни были.

Именно бабушка, найдя мои рисунки, отнесла документы в художественную школу, куда меня приняли, заставив, впрочем, написать диктант и нарисовать вазу. Я нарисовал греческую амфору из книжки, по памяти, и меня взяли под конец года, что явилось для меня потрясением: оказывается, я на что-то годен. В моей жизни появились надежды, а мечты стали сбываться.

Через восемь лет я с первого раза поступил в Суриковское училище, в ноябре мне исполнилось 18, а на следующий день бабуля моя умерла. Утром я нашел ее в кресле, в котором она читала перед сном, очки без дужек сползли на грудь, глаза были открыты и совершенно сухи, рядом стоял остывший чай с мелко порезанной коричневой антоновкой. Когда ее увезли, и санитар, хлопнув меня по плечу сказал: «Ну-ну», я надолго замер посреди комнаты, глядя на туалетный столик – там стояли в коробке ее любимые горькие духи, и думал я о том, что разгадал их тайну: красно-черная траурная коробка с самого начала предупреждала меня о том, что все не навсегда. Ей было 85 лет.

После того, как бабушки моей не стало, я испытал ужас. Не сразу, где-то на четвертый день. Он налетел на меня и окутал с ног до головы черным душным плащом в тот миг, когда я заканчивал свой автоматический утренний ритуал: душ-кофе-с-молоком-два яйца всмятку. Удивительно, ведь тоже самое я делал даже в утро, когда нашел ее недвижимую в кресле, уже после того, как вызвал скорую. Я расчесывал волосы перед зеркалом, и вдруг ко мне пришло осознание, застучалось в мозг беспокойно и настойчиво, как стучится в дверь почтальон со

срочной телеграммой в руках: ты совсем один, один, одинннн. В черепе о костяные стенки бился, не находя себе места, страшный колокольчик. Это осознание настолько пропитало меня, что я прекратил на какое-то время контакты с внешним миром. Что-то ел... знаете, у пожилых людей всегда были пищевые запасы, а бабушка моя пережила в Москве войну и голод, что навсегда научило ее беречь и накапливать еду. Я даже и не подозревал, насколько глубока и наполнена наша кладовка. Я исписал все холсты и перешел на обои, пытаюсь избавиться от мучительного сожаления, выбрасывая в пространство бесконечность капель. Мимо меня вереницей шли дни и недели, во дворе зажглась и погасла новогодняя елка, ледяной ветер бился в окно, силясь достать меня острыми пальцами, но бабушка все-таки успела заклеить окна.

Потом мне стали звонить из училища, кажется, я намечался на какой-то конкурс, поэтому мне пришлось намотать на горло шарф, надеть пальто, которое оказалось мне почему-то велико, и выйти в мир, который враз поразил меня своей убогостью. Был март, и тающий снег обнажал нечистоты и мусор.

Одно из первых встречных мне лиц был кошмар моего раннего детства – Марина. Я встретил ее на Савеловском вокзале, когда мне потребовалось посетить туалет. Я долго собирался с духом, чтобы войти, подозревая там отсутствие перегородок между дырами в полу, и как только решился, навстречу мне вышла женщина, гремя пустыми ведрами. Я перегородил ей путь, и она ругнулась тихо и подняла на меня свои глаза, и тут же я узнал ее, как ни странно, она почти не изменилась, ведь пухлые славянские женщины часто висают в периоде «за 30», хотя ей могло бы быть и пятьдесят. Но потом я произвел в уме расчеты и понял, что ей еще может быть, даже не было и сорока. Она узнала меня сразу же, не столько, наверное, по лицу, сколько по напряженному взгляду, и мы стояли в проеме, мешая облегчившимся выходить на свет Божий, и она потянула меня за рукав. Мы оказались в телефонной будке, дневной свет беспощадно выявил следы распада на ее лице – видно было, что Марина пила и пила много, при этом ее голубые глаза сохранили некую детскость, и русые волосы были по-прежнему густы и убраны в косу. Собственно, говорить нам было не о чем, она спрашивал, я отвечал, и неожиданно она объявила мне, что сегодня ее день рождения, и торопливо писала мне адрес и смотрела умоляющими глазами. Я взял из ее дрожащих рук бумажку: где-то на Вятской. Удивился этому дрожанию: Марина, как мне помнится, была скупа на эмоции.

Я совершенно не собирался идти к ней, но так случилось, что пошел. Когда я ехал по эскалатору вниз, так не воспользовавшись туалетом по вине Марины, сквозь физическое неудобство ко мне протиснулась мысль, что встреча эта символична и неслучайна. Неявка сделала бы меня трусом в собственных глазах. Встреча эта казалась мне знаковой, и несколько раз я сжимал кулаки. Теперь, когда я остался с одиночеством наедине на этом свете, мне вдруг противна стала мысль о том, что это не совсем так – оказывается, есть еще Марина, единственная, хоть и не кровная нить, связывающая меня с прошлым, но руки-то сжимались в кулаки как раз от того, что мне хотелось сделать так, чтоб эта нить оборвалась... Уж лучше бы ее не было совсем на свете. Как будто бы ее появление сделало меня грязнее, еще грязнее и хуже, чем я был. Я хотел раздавить этот образ, тогда в тот вечер я впервые захотел причинить кому-то физическую боль и за неимением кого-то причинил ее себе. Какая-то насмешка судьбы виделась в том, что вскоре после смерти бабушки на моем горизонте опять появилась она, будто бы перечеркивая все мои солнечные годы, замарывая их бурой жижей, выплескиваемой из помойного ведра. «Не ходи» – явилось просто решение. И я успокоился вдруг. И к вечеру я почти забыл о ней, лишь крик моей однокурсницы, адресованной подружке: «Марина, подожди меня», вывел меня из ступора памяти.

Дальше я действовал механически, как робот. Внутри меня победителем над лежавшим без движения трусом вышел злой и наглый парень. Я задумал нечто такое, что мой разум отказывался анализировать. Я купил в ларьке белые хризантемы, а в винном – бутылку портвейна,

что-то подсказывало мне, что Марине он лишним не будет. Чем ближе походил я к нужному дому, тем слабее становились ноги, и пару раз они порывались развернуться, но сразу после этого я нарочно ускорял шаг. Я понял, что бывает, когда время теряет границы: к Марине шел развязный с виду молодой человек, а внутри его в клубок свернулся в железном сундуке несчастный, хлюпающий носом малыш, беззащитный и безответный. Состояние нынешнее мое мне не нравилось, но жажда придушить в себе этого ребенка, ощутить, как пластилином просачивается он между сдавленными пальцами и с липким звуком падает на асфальт, была сильнее. Я стал другим, ему во мне больше не место. И я дошел и позвонил, а потом постучал, пока не услышал протяжный крик: «Открытоо...».

Вопреки моим ожиданиям, я не увидел сборище маргинальных личностей, которые, по моему мнению, должны составлять круг общения привокзальной уборщицы. Квартира ее была крошечной, но довольно чистой, какие-то вещи, как, например, часы с котом или репродукция Левитана, вспомнились мне сразу, оставив в памяти небольшие сквозные ожоги. Марина вышла ко мне, принаряженная в длинное черное платье с серебристыми нитями, волосы были убраны по-новому, в высокую прическу, на лице лежала пудра, на губах – мертвецкая сиреневая помада. Она смотрела на меня странным взглядом, другим взглядом, удивленным и немного хищным. Я сразу понял, что не получу того, чего в самой глубине меня, за семью дверями и семью печатями, ожидал от нее тот малыш – покаяния.

– Думал, у тебя гости, – произнес, наконец, я.

– Гости будут в субботу. А сегодня четверг, завтра мне рано на работу. Ты не думай, вокзал – это временно. Подрабатываю я, хочу, в конце концов, море увидеть.

– Здорово. Море.

– А так, я работаю в театре. Ермоловой. На подхвате. И контролер и программки продаю. Жду, когда в буфете место освободится, там одна женщина – она беременна. Но, вот ведь зараза, седьмой уже месяц, а никак не уходит, в декрет-то. Проходи, в общем, что стоишь в дверях. Цветы давай сюда.

Я прошел в комнату, там, на журнальном столике, при диване, расставлены были шампанское, белый салат, какие-то бутерброды. Свет от тусклой люстры озарял комнату нездоровым желтоватым светом, и я быстро потерял ощущение реальности. Видя перед собой Марину, глядя на ее шевелящийся накрашенный рот, я не понимал, где нахожусь и со всей силы жалел о приходе своем. Машинально открывал шампанское, что-то жевал. Тут стали бить часы знакомым боем... Она, почуяв мой настрой, замолчала и стала смотреть как-то нехорошо, как тогда, 15 лет назад смотрела на меня, но в ее глазах было что-то такое, настораживающее, но знал уже я эти взгляды...

– Как ты на отца похож, – вдруг произнесла она, – только потоньше, повыше, волосы длиннее. Что, известно о нем? Может, и нашелся?

– Не нашелся, – ответил я, что, впрочем, не было обманом. – Пора мне, Марина. С Днем Рождения.

И мы одновременно встали, оказавшись лицом к лицу: ее каблук сглаживали разницу в росте.

– Как ты на отца похож, – повторила она странным тоном, вызвав мое уже раздражение.

И вдруг обхватила мою шею руками и прижалась скользким сиреневым ртом к моим губам. Я оттолкнул ее, и она ушиблась плечом о шкаф, глядя на меня упрямыми глазами и растирая поврежденную часть. Внутри меня поднималось что-то тяжелое и злое, разворачиваясь, как змея. Я шагнул вперед, протянув к ней руки. Но тут взгляд ее смягчился, в углах глаз собралась влага и заструилась вниз, оставляя влажную бороздку на напудренном лице. Я растерялся, во мне проснулась жалость. «Ну что ты, перестань», – со стороны услышал я свой голос. Пальцы при прикосновении к ее синтетическому платью ударило током, что изменило направление моего заряда. От близости женщины во мне произошло направленное физиоло-

гическое волнение – то, что ранее показалось мне змеей. Но в первый раз волнение было ответным. Проснувшись резко, как это бывает у юношей, желание потушило искры разума.

Она беззащитна, ее тело мягкое и пухлое, еще пару моментов, потраченных на снятие платья – и я буду владеть ею, как сапогами или брюками. Кажется, я опрокинул ее прямо на пол, на ковер, где резвились стертые олени. Мне было стыдно за ее крики, и я закрывал ей рот рукой, превращая их в глухие стоны. После пронзительной, но очень короткой судороги, мною овладел невообразимый стыд, и я бежал, скомкав в руках предметы одежды, не глядя ей в глаза, не обронив ни слова. Перебирая ногами в сторону метро, я чувствовал в своих ладонях тепло ее тела, тяжесть ее больших грудей, а между ног – ее субстанцию. Я еще не подозревал, отравленный своей несформировавшейся тогда еще моралью и самонадеянностью юности, на какие новые кошмары я обрекаю себя, и как долго мне придется платить за эту вовремя несдержанную и извращенную похоть. Помню, в увозившем меня прочь вагоне метро, я убеждал себя, что совершил некий ритуал. Что разорвал ниточки, связывающие меня настоящего с той частью моего, еще черно-белого детства, в котором женщина, лежащая сейчас там, на полу, с распластанной грудью и размазанной, будто кровоподтеки, по лицу помадой, правила мной, как кукловод. Но мысль победителя вскоре поменяла ход. Войдя домой, я сразу же увидел лежащую на кровати книгу Николая Куна – я так любил перечитывать ее на ночь, но она ничему меня не научила.

Хуже даже осознания выраженной ненормальности произошедшего, было то, что именно Марина стала моей первой женщиной, получив безраздельную власть над моим мужским началом, ведь, в отличие от дальнейших, многочисленных ее последовательниц, чьи лица зачастую стирались у меня из памяти с рассветом, у нее такого шанса не было, и именно она, а не я, овладела мною, лишив меня раз и навсегда той нравственной и биологической чистоты, которой так пренебрегают молодые юноши и девушки. И страшным унижением стало обнаружение через пару недель неприятности, с которой мне пришлось обратиться в местный кожно-венерологический диспансер. Держа рецепт в потной ладони, в аптечной очереди я тихо подергивался от клокотавшего внутри меня истеричного смеха.

Случай этот надолго отбил у меня естественное вроде бы стремление молодого мужчины к женскому полу. Наверное, моя психика была какое-то время повреждена, потому что меня преследовал запах Марины, смесь сладких духов, вроде бы модных тогда, и ее тела, быстро покрывшегося тогда потом, отдающим сырым луком. Как-то, стоя в столовой училища, я почуял похожие духи от стоявшей впереди студентки, и торопливо бежал из очереди, боясь, что резкий приступ тошноты выйдет из-под контроля и выльется из меня прямо на нечистый пол.

Ощущение погани долго не отпускало меня. В зеркало на меня смотрело тощее бледное создание, неопределенного пола из-за отросших до плеч волос и неопределенного возраста из-за огромных кругов под глазами. Питался я нерегулярно и нездорово, в связи с этим имел проблемы с пищеварением. Днем, содрогаясь от отвращения к себе, я принимал таблетки из коробочки, но скверный запах белья продолжал меня тревожить. Я бесконечно мылся, тер свое естество безжалостно мылом, но из-за начавшегося раздражения пришлось почти свести на нет гигиенические процедуры. Ночью я просыпался весь мокрый от бесконечных и назойливых снов, где беспорядочные соития с людьми и нелюдьми доводили меня до крайней степени возбуждения. Чтобы справиться с тягучей болью в животе, я тянул руки вниз, но после отвращение к себе настолько поглощало меня, что я шел на кухню и резал кончики пальцев себе в наказание. Но весенний ветер ворвался как-то ночью в форточку, в ту тусклую реальность между сном и явью, в которой прозябал я несколько недель. С весной вновь пришло мое выздоровление.

Началось странное время, сладкое и тревожное, в силу моего молодого возраста меня постоянно мучили томления, а в силу моей тонкой, нет, истонченной натуры, я не мог удовле-

творять их с кем попало, да и удовлетворения хватало на ничтожно малый срок. Я часто писал, не в ученической своей манере, к которой были благосклонны мои преподаватели, а в собственной, сложившейся в несчастном периоде моего детства, создавая очертания предметов вокруг из множества переливчатых капель. Но протрудившись над мольбертом ночь, поутру я ругал себя за истраченные на холсты и масло деньги, ведь стипендия моя была ничтожной в свете постоянно росших цен, и бывали дни, когда я ел один раз в день, запивая нехитрый завтрак из хлеба с маслом кипяченой водой. Доведенный безденежьем до отчаяния, я пришел к решению сдать бабушкину трехкомнатную квартиру в сталинском доме на Соколе и снял себе однокомнатную квартиру-студию на Планетной улице. И мне стало легче. Я ощутил некую болезненную неприкаянность, но вместе с тем свободу, как лесной чертополох, прошедший долгий путь на шкуре дикого зверя и прижившийся на открытом пространстве, где не росло других чертополохов, но трепетали на ветру незнакомые душистые растения с яркими цветами.

Вскоре я сошелся с самой красивой и самой странной девушкой группы, с глазами, обернутыми внутрь, в себя, ненасытной, эгоистичной и истеричной, но красота ее лица и тела, сродни рисованному акварелью ангелу, затмевала внутренних бесов. Через пару лет нам пришлось жениться из-за неожиданной беременности Олеси – по юности мы были крайне неосторожны и практиковали прерванный акт. Вскоре у меня родилась дочь, которой мы дали нежное имя Есения, но к тому моменту мы уже не жили вместе и ждали развода. Какое-то время я был прилежным воскресным папой, насколько можно было им быть человеку, существующему в довольно порочном кругу из творческих натур, бизнесменов и фриков в мутные 90-е годы. Олеся привечала у себя не только художников, но и хиппи, музыкантов, поэтов, я часто уносил дочь на руках из облаков табака и марихуаны на улицу, где проводил часы. Как и многие из моей группы, позже Олеся неожиданно уехала из страны в Австралию и увезла с собой годовалую дочь. Уйдя в водоворот страстей, грехов и творческих мук, я упустил их из виду, и до сих пор ищу следы.

Однако с карьерой художника у меня не складывалось. На третьем курсе я отхватил свой кусок мимолетной славы, совместно с приятелем Карасевым создав огромную инсталляцию, где вперемешку с бессистемными мазками акриловых красок запечатлел несюжетные картины с использованием частей кукол, столовых приборов, шприцов, пуговиц, битых пластинок и прочего хлама. Текло последнее десятилетие 20-го века – черное время бандитов и богемы. Тогда это казалось экспериментом, шоком, эпатажем. Про нас написали, и вскоре за стилизованную под барокко роспись внутренних стен загородного дома одного влиятельного человека мне заплатили столько, что я купил себе подержанный, но блестящий белый Ford Mondeo американской сборки. Правда, бывало так, что заправлять его было не на что.

Но юношеский этап так и не перерос в нечто большее. Я постоянно выставлялся в сборных выставках, но редкие продажи не покрывали всех моих потребностей и не удовлетворяли амбиций. На экзаменах я сдавал образцовые эскизы, вызывающие одобрительные кивки преподавателей, но долго глядя в мои глаза, как будто бы с недоумением, они задерживали взгляд настолько, насколько требовалось мне для прочтения приговора: в них жизни нет. И я кивал в ответ: «Все, понял». Лишь по ночам, иногда, сдернутый странной лунной силой с постели, я долго, до острой боли в запястье с напряжением вырисовывал перекошенные лица, изогнутые до судорог тела, рвавшиеся на свет из моего сознания, состоящие из множества мелких капелек прозрачной воды – невыплаканных слез.

Я был всего лишь наблюдателем – за всем тем живописным, ярким, суматошным течением жизни, я смотрел на мир из тени, так наблюдает за спектаклем тоскующий статист за кулисами, уже отыгравший свое «кушать подано», и поднос дрожит в его опущенной руке.

«Не можешь сам – учи других» – безжалостный этот приказ глубоким шрамом лег на мое сердце. Будто подчиняясь ненавистной фразе, я, сам того не желая, двинулся в сторону препода-

давательской карьеры. При этом я мнил себя богемой и вел образ жизни, соответствующий ей – менял любовниц, но почти никогда не влюблялся, за мной тянулся хвост из женских плачей, упреков и обид. Я носил бархатный пиджак, найденный на толкучке, серебряные браслеты на руках, в сочетании с темными глазами, длинным хрящеватым носом и длинными волосами это рождало артистический образ, на который столь падки оказались женщины. Я употреблял алкоголь, но имел довольно крепкую голову, потому употреблял много, и да – это были все те же 90-е – имели место быть эксперименты с расширением сознания. Однако после того как мой друг, бородатый хиппи Ник, съев марку, вышел в окно своей квартиры на 4-м этаже, с тем, чтобы больше не вернуться, я остановился.

Я уехал на лето в Крым, в поселок под названием Рыбцех – на берегу его стоял выжженной солнцем добела бетонный и уже разрушающийся заброшенный рыбный завод с фантастическими ржавыми конструкциями внутри и вокруг, и с уходящих далеко в море понтонов я нырял глубоко в море, прозрачное как слеза ребенка. Я проводил дни в полном одиночестве, пил только лишь местное сухое вино, много читал и много плавал. От длительного воздержания в голове роились идеи. Правда, вернувшись в Москву, я еще несколько лет пошатался по галереям и издательствам, пробуя силы в иллюстрировании, совсем увяз в любовных связях, было время – жил сразу с двумя, но каждое утро пустота накрывала меня своим сачком... А я все выпрыгивал – и снова пил, и ел, и утопал в женской влаге, и по утру мою больную голову тревожил запах масляных красок, как запах жареного мяса тревожит больную поджелудочную. А потом как-то совершенно незаметно, постепенно пришло и утвердилось решение открыть Школу.

Это был рискованный шаг, но меня поддержали друзья – кто-то обеспечил спонсорскую помощь, кто-то организовал информационную поддержку в прессе, несколько моих картин и автобиография вошли в альманах современной живописи, Саша Якорев сделал нам анимированный сайт, что по тем временам было чудом чудным, и занялся его раскруткой. Несколько месяцев я занимался бюрократическими проблемами – регистрировал Школу, пытался вникнуть в нюансы налогообложения, писал программу, формировал преподавательский штат.

А вот с помещением пришлось повозиться, но в результате мне странным образом повезло, и я стал арендатором всего второго этажа небольшого дореволюционного особняка на Садово-Каретной улице. На первом этаже находилась булочная, кофейня и влачивший жалкое существование ремонт часов, на третьем же, последнем, до сих пор оставались квартиры, в одной из которых проживала старушка, дочь дореволюционного хозяина особняка, по чьему проекту он и строился. Старушка сохранила ясный и хитрый ум, и, несмотря на свой крайне преклонный возраст (на момент нашего знакомства ей было 89 лет), воспользовалась чехардой с собственностью начала 90-х и отбила второй этаж себе, бесконечно строчила письма в мэрию о том, чтобы дом признали объектом культурного наследия, и сдала мне весь этаж за мизерную плату, при условии полного ремонта общей лестницы, бывшей в аварийном состоянии. На этаже были прихожая, большая ванная и три просторных комнаты. Одна, сделанная из двух, была в 55 квадратных метров, и мы задумали там аудиторию, вторую, поменьше, я осторожно пересдал своему приятелю из Литинститута, где он устроил книжную лавку, втиснул пару столиков, кофемашину, и стал поить моих учеников кофе за покупку книги, а также проводить поэтические вечера. А в третьей, где был балкон с чугунными балясинами, я сделал комнату отдыха для преподавателей, имея в виду, прежде всего, себя, конечно же.

Я набрал первую группу из 18 человек за месяц и стал вести занятия по утрам, начиная с нового года, тем временем собиралась вторая группа, на вечер. Я почти бросил пить и порвал почти все порочные связи.

И сразу явилась она – Ли, как будто бы поджидала, пока я поднимусь на ступеньку выше – для нее.

Ч.2 ЛИ

Апрель стоял удивительный, волшебный, неземной – душный как перед бурей, влажный и туманный, видимость – 10 метров, отменялись рейсы, сталкивались автомобили. Солнце скрылось навеки, дождь все никак не мог пролиться из набухших небесных грудей, почки не вскрывались, земля дрожала, распираемая изнутри миллиардами острых травинок, птицы не пели, но натужно звенели провода...

Хотелось свежести, хотелось дышать полной грудью, и в субботнее утро я поехал в Серебряный бор, к воде. Оставив автомобиль у шлагбаума, решил пройтись, разгребая туманы руками и слушая лесной шум.

Апрель для прогулок в почти единственном московском оазисе – незаменимое время. Лес еще не вышел из зимней спячки, все летние духи и оборотни, заставляющие людей сбрасывать с себя всю одежду, жечь костры и любиться спьяну по кустам, еще дремлют в своих берлогах. Лес чист и пуст, девственен, не осквернен, но уже дымит шашлычная, ожидая первых отдыхающих, набрав в корзинки веток и прошлогодних желудей, спешит домой семья натуралистов – мама, папа, сын – все в клетчатых рубашках и резиновых сапогах. Городская пастораль. Но сердце у меня щемило, что списывал я на волнения, связанные со свалившейся на меня ответственностью и повторяющимися эпизодами ларингита – болезнью роста неопытного лектора.

Шашлык казался неожиданно прекрасен, чуть специй, аджика, скорбным платочком сложенный лаваш, красная гурийская капуста и вино... Ну это уже так, символически, обычное столовое красное. Чокаемся с владельцем, оказывается, в марте у него родился сын, он что-то говорит про то, что давно ждал, что три дочери, и смеется, но я напряжен, и мысли мои блуждают далеко. Мне стукнуло 32 года и где-то там, в далеком Сиднее зрела, наливалась жизненными соками и моя увезенная бывшей женой дочь, а дома, под теплым одеялом спала недавняя, но уже чуть тяготившая меня любовница, как водится, из натурщиц.

Тут что-то случилось, неожиданно и остро блеснуло солнце за стеклом, зарезав окно пополам, открылась дверь, и возник женский силуэт, запахло ночью, мхом и сырым лесом, что-то такое... Темные волосы, чуть спутанные, жженого кофе, глаза желто-зеленые – сложный шартрез, четко очерченный небольшой рот, кожа кремовая, под упавшим солнечным лучом ушла в белила, длинный прямой нос, как на полотнах Модильяни, и маленькое родимое пятнышко посередине подбородка, брови густые, взлет, как крылья ласточки... Я подмечал – одета в вязаный свитер и, кажется, джинсы, пальто нараспашку – мягкое черное, туфли – без каблуков, потому свободная кошачья походка, сумка как солдатский вещмешок, длинный вязаный шарф размотался и достает почти до колен. Все это видели глаза, а сердце упало и забилось где-то в животе, а ум еще вообще не понимал, что случилось, и почему такое зудящее беспокойство возникло во всем организме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.